

No Kidding Press



Тове Дитлевсен

ЛИЦА

Копенгагенская трилогия

Тове Дитлевсен

Лица

«ВЕБКНИГА»

1968

Дитлевсен Т.

Лица / Т. Дитлевсен — «ВЕБКНИГА», 1968 — (Копенгагенская трилогия)

ISBN 978-5-60-464508-6

Лизе Мундус, мать троих детей, добилась признания как детская писательница, но вот уже два года не может создать ничего нового. Домработница Гитте преклоняется перед ее литературным даром, но постепенно подчиняет себе жизнь всей семьи. Герт, муж Лизе, успешен и основателен, но изменяет ей. Когда он приходит к жене за утешением после самоубийства любовницы, это событие срабатывает как триггер: Лизе охватывает безумие, одновременно разрушительное и спасительное. «Лица» – откровенная и жесткая картина ментального расстройства. Эта тема и сейчас обсуждается порой со стыдом и опаской, а поднять ее в 1968 году было почти неммыслимо. Повесть лишь отчасти автобиографична, но примыкает к знаменитой «Копенгагенской трилогии». С беспрецедентной смелостью Тове описывает отчаянный опыт, хорошо знакомый ей самой. Хрупкость «Детства», иллюзорность «Юности» и небезопасность «Зависимости» предстают здесь со всей беспощадностью.

ISBN 978-5-60-464508-6

© Дитлевсен Т., 1968

© ВЕБКНИГА, 1968

Содержание

1	6
2	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Тове Дитлевсен Лица

TOVE DITLEVSEN
ANSIGTERNE

Издание осуществлено при поддержке Danish Arts Foundation



© Tove Ditlevsen & Hasselbalch, Copenhagen 1968. Published by agreement with Gyldendal Group Agency

© Анна Рахманько, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2021

* * *

1

К вечеру становилось немного лучше. Удавалось, осторожно разгладив, рассматривать его в надежде когда-нибудь снова увидеть, словно незаконченный пестрый гобелен, чей узор, возможно, однажды проступит. Голоса вернулись к ней, и, проявив немного терпения, можно было выделить каждый из них, словно нити в запутанном клубке. Можно было спокойно размышлять над смыслом слов, не боясь, что у них появятся новые значения, прежде чем спадет пелена тьмы. Ночь с трудом отделяла дни друг от друга, и если вдруг удавалось продышать дыру в ее темноте, словно на покрывшемся инеем окне, то утро било светом в глаза намного раньше положенного.

В доме уже все спали, кроме Герта: он до сих пор не вернулся, хотя почти наступила полночь. На лицах спящих лежало мирное и отстраненное выражение, ведь лица не понадобятся до самого утра. Их, наверное, осторожно сняли и повесили поверх одежды, ведь и лицам нужен отдых, и носить их во время сна совсем не обязательно. Днем же лица беспрерывно менялись, словно отражение на поверхности воды, волнуемой ветром. Глаза, нос, рот – как этот простой треугольник может заключать в себе бесконечное количество возможных вариантов? Долгое время ей удавалось избегать появления на улице: в толпе лица наводили на нее страх. Она не осмеливалась примерять новые и боялась встретиться со старыми, совсем не соответствующими ее воспоминаниям. В них лица лежали рядом с мертвецами, которые всё равно не могли причинить вреда. Если попадались люди, с которыми она не виделась сотни лет, то их лица казались изменившимися, чужими и постаревшими, чего никто не пытался предотвратить. За ними не ухаживали, и они выскальзывали из чьих-то покровительственных рук, которым нужно было держать их, словно утопающего над водой. Забегавшись по другим делам, люди забывали заботиться о лице и в самый последний момент меняли его на новое, украденное у мертвецов или спящих, которым оставалось обходиться чем попало. Лицо оказывалось либо слишком большим, либо слишком маленьким и носило в себе следы жизни, не принадлежавшей новому владельцу. Правда, когда наконец удавалось привыкнуть к нему, собственное лицо начинало просвечивать, словно сквозь старые обои виднелись рвущиеся и обнажающие полосы наклеенных слоев под ними, свежих, хорошо сохранившихся и наполненных воспоминаниями о прежних жильцах. Некоторые приобретали себе новое лицо – из нетерпения или потребности следовать моде – намного раньше, чем старое успевало износиться. Так покупают одежду, едва успев походить в той, что уже есть. Многие молодые девушки обменивались с подругами даже отдельными чертами лица, если собирались куда-нибудь вечером и им хотелось нос поменьше или глаза побольше – выразительнее, чем свои. Это определенно стягивало кожу, но причиняло неудобств не больше, чем туфли на размер меньше. Наиболее отчетливо это, конечно, проявлялось у подрастающих детей. На них было невозможно задержать взгляд: он становился пустым, как после долгого рассматривания себя в зеркале. Дети носили лица тех, в кого им предстояло вырасти, – правда, лица становились впору лишь через много лет. Почти всегда они сидели слишком высоко, и детям приходилось тянуться на цыпочках и прилагать много усилий, чтобы хотя бы взглянуть на изображение по ту сторону век. Некоторым, особенно девочкам, выпадало проживать детство своих матерей, пока собственное хранилось взаперти в секретном шкафчике. Таким девочкам приходилось очень сложно. Голос сочился из них, словно гной из раны, и одно его звучание пугало, словно они обнаружили, что кто-то прочитал их дневник, хотя тот и был закопан под всякой ерундой и старыми игрушками еще с тех времен, когда им, четырехлетним, надо было носить уже использованное лицо. Оно выглядывало между юлой и искалеченными куклами, тарасило стеклянные глаза невинно и удивленно. Их сон был чуток и смердел страхами. По вечерам, во время уборки в комнате, девочкам приходилось собирать свои мысли, словно птах, которых нужно

запереть в клетке. Иногда обнаруживалось, что одна из них чужая, и что с ней делать – непонятно. Девочки в спешке из-за вечной усталости прятали эту птаху за шкаф или между книгами на полке. Но утром мысли больше не подходили их лицам, разлагались во время сна, словно карнавальная маска, треснувшая и размокшая от теплого дыхания. С трудом удавалось натянуть на себя новые лица, точно судьбы, и при одном только взгляде на ноги кружилась голова – так стремительно увеличивалось расстояние до них за одну ночь.

Она краем глаза, не повернув головы, осмотрела комнату. Трюмо, ночной столик и два стула. Комната напоминала ей могилу, не хватало разве что надгробия и креста. Напоминала арендуемую в юности комнату, где она написала свои первые книги и где смогла обрести хрупкое ощущение безопасности, что заключалось лишь в отсутствии каких-либо изменений. Она лежала на расстеленном диване, заложив руки за голову. Лежать нужно было совсем тихо, не делая никаких неожиданных движений, чтобы пугающая пустота не вырвалась из стенного шкафа вместе со всеми спрессованными страхами детства.

Она медленно потянулась за снотворным: достала две таблетки и запила водой. Их дала Гитте: она давала любому всё, что ни потребуется. За Гитте нужно было следить больше, чем за кем-либо еще. Приходилось обрывать некоторые слова – любой ценой, любыми средствами, – прежде чем они успевали слететь с губ. Лизе сожалела, что они перешли на «ты». Еще в один из первых вечеров вместе с Гертом они выпивали с ней, и, так как Гитте обладала определенным свободолобием, приобретенным в высшей народной школе¹, они поняли, что с ней нельзя обращаться как с обыкновенной домашней прислугой, частной жизнью которой можно совсем не интересоваться.

Гитте стала следствием неожиданной волны популярности, накрывшей Лизе два года назад, когда ее наградили премией Академии за детскую книгу. Сама же она считала ее не хуже и не лучше всего остального, написанного ею. За исключением оставшегося без внимания сборника стихов, она не писала ничего другого, кроме детских книг. На них всегда выходили благожелательные рецензии в рубриках для женщин, они неплохо продавались и, к ее успокоению, были обделены вниманием мира, столь поглощенного взрослой литературой. Популярность грубо сорвала завесу, которая всегда отделяла ее от реальности. Пока она произносила благодарственную речь, составленную для нее Гертом, ее охватили детские страхи: она боялась быть уличенной в том, что всего-навсего ломает комедию и выдает себя за ту, кем на самом деле не является. Вообще-то эти страхи никогда не покидали ее. В интервью она всегда высказывала мнение Герта или Асгера, будто своих мыслей у нее не было. Асгер бросил ее десять лет назад, но оставил после себя, точно забытый на вокзале багаж, полновесный запас идей и слов. Исчерпав их до дна, она стала пользоваться мнениями Герта, которые всегда зависели от его настроения. И только когда она писала, ей удавалось выражать себя – другого же ей было не дано. Ее известность Герт воспринял как личное оскорбление. Он заявил, что не может спать с литературным произведением, и с великим рвением принялся изменять ей, докладывая в деталях обо всех своих завоеваниях. Ее душу словно окунули в прорубь: она всё еще любила Герта и боялась его потерять. Надя, детский психолог и лучшая подруга Лизе, отправила ее к психиатру. Тот объяснил, что она притягивает к себе мужчин со сложным нравом, честолюбивых натур, сомневающих в собственных талантах. Она была толковой пациенткой и сама видела определенное сходство между Асгером и Гертом. Правда, Асгер достаточно поздно для него взялся за карьеру, которая, однако, предполагала полное и неустанное участие семьи. Неожиданно жена с ее смехотворными детскими книгами стала недостатком, его собственной слабостью, которой в любой момент могли воспользоваться враги. Измены Герта, как объяснил

¹ Идею народных школ для крестьян, а позже и для рабочих предложил датский теолог и философ Николай Фредерик Северин Грундтвиг в 1830-х годах. Равенство, в том числе и полов, было одним из базовых принципов образования в таких школах. Это одни из первых высших учебных заведений, куда стали принимать девушек. – *Здесь и далее приводятся примечания переводчицы.*

доктор Йёргенсен, не могли привести к разводу, потому что в основном случались только ради нее. Это был просто акт неповиновения – так двухлетний ребенок разбрасывает кашу. Герт был привязан к ней силой собственных невротических проблем, и маловероятно, чтобы он отказался от своей индивидуальности в пользу чувства, едва ли напоминавшего влюбленность.

Снотворное начало действовать – она потеряла бдительность, и одно лицо вырвалось на волю и вперилося в нее с давней неприкрытой злобой. Это было лицо карлика: оно мерещилось ей в детстве; стоило только обернуться – и он одновременно поворачивал голову и провожал ее взглядом. До конца своих дней ей суждено хранить это лицо у себя, как застарелую вину, которую не могли искупить никакие угрызения совести.

В замочную скважину вставили ключ – звук донесся до нее словно сквозь толстые слои шерстяных одеял. Герт. Она услышала шаги в гостиной и подумала, что он идет в кухню за пивом или в комнату горничной, к Гитте. Дверь неожиданно отворилась – он стоял на пороге ее комнаты.

– Не спишь? – неуверенно спросил он.

– Нет.

Она приподнялась на локтях и уставилась на его ботинки. Приближаясь, те увеличивались невыносимо, словно в абсурдистской пьесе, где грибы пробивались из-под половицы и постоянная попытка избавиться от них становилась единственной целью в жизни. Он подошел ближе. В панике она подумала, что это слишком – состоять в браке сразу с целым человеком.

Она пробудила те немногие слова, что еще оставались между ними; скованные и неловкие, они потягивались на ее губах, словно только что поднятые с постели дети.

– Присаживайся, – произнесла она. – Что-то случилось?

Он сел на стул по другую сторону ночного столика. Свет лампы упал на его руки, которые он нервно ломал. Лицо скрывалось в темноте, но она разыскала его в памяти – утонченное и изможденное, с мелкими правильными чертами.

– Да, – ответил он. – Грете покончила с собой.

Она ощутила на себе его взгляд и отвернулась к стене. Сердце бешено колотилось. Что положено чувствовать и говорить, когда любовница мужа свела счеты с жизнью? Подобное случилось впервые. Она привыкла использовать по отношению к нему старые изношенные чувства – так ориентируются незрячие, вызывая в памяти далекие уже образы из тех времен, когда они могли видеть. Этому чувству принадлежали определенные слова и интонации, и казалось опасным выходить из столь знакомой зоны, точно пробираясь по минному полю.

– Мне очень жаль, – с дурацкой вежливостью выдавила она, – но разве ты ее не бросил? Вроде бы ты об этом говорил.

Неожиданно зеленые шторы стали выглядеть так, будто их сшили из гофрированной бумаги. Должно быть, всему виной снотворное. Она знала, что таблетки притупляют восприятие.

Он подвинул лампу, чтобы дотянуться до сигарет. Теперь свет падал Герту на лицо, но она избегала встречаться с ним взглядом.

– Да, – устало ответил он. – Она без предупреждения не явилась на работу. Все знали, что у меня есть ключи от ее квартиры, – возможно, она сама рассказала. Йосефсен попросила меня сходить и посмотреть, что там стряслось. Она лежала на кровати с пустым стаканом в руке. Я испугался. Это, конечно, не повлияет на мое положение на работе – но какой позор! На меня пялились, будто я сам ее убил.

С дрожью в руках он прикурил.

– С самого начала знал, что связываться с секретаршами – дурная затея. Да еще и такого возраста. Рискованно проявлять хоть какое-то сочувствие к незамужним женщинам за тридцать пять.

– Мне сорок, – заметила она непроизвольно. И сразу пожалела. Это было частью их изнурительной игры: она никогда не придавала себе хоть какого-то значения. Под его взглядом она почувствовала себя словно в свете раскалившихся прожекторов.

– Это совсем другое, – раздраженно ответил он. – Тебя сложно всерьез воспринимать как человека. Всё равно что твой бывший попал бы в журнал, в десятку самых модных мужчин. Даже ты решила бы, что это смешотворно.

– Герт, – произнесла она с нежностью в голосе, маскирующей отсутствие любви. – Совсем необязательно, что она сделала это из-за тебя. Надя говорила, что у некоторых людей низкий суицидальный порог. Однажды она рассказала мне о девушке, покончившей с собой из-за пропавшей велосипеда.

– Я это отлично понимаю, – сказал он, – и не пытаюсь переоценить свою значимость. Но к своей работе я отношусь серьезно, а подобного рода вещи мешают.

Впервые за разговор она посмотрела ему в лицо. Что-то с ним было не так. Все его черты отличались друг от друга, словно мебель из череды браков. Под глазами набрякли небольшие мешки, словно он носил в них горькие воспоминания о неудавшейся жизни. На мгновение она ощутила внутри промельк жалости – так свет маяка скользит по далеким волнам. Ее взгляд остановился на его ушах, больших, поросших волосами, словно у животного. Нет, что-то здесь не так. Она закрыла глаза и опустила на подушку.

– Через пару дней об этом забудут, – сказала она. – Иди к себе, Герт, мне нужно поспать.

– Извини, – ответил он оскорбленно, – я едва не забыл, что твое время бесценно.

Он нарочито шумно поднялся и вышел из комнаты, не пожелав спокойной ночи.

Она выключила свет, но темнота не принесла утешения. Что он имеет в виду, говоря о бесценности ее времени? Решил, что ей осталось жить недолго?

На кухне кто-то пустил воду, и в комнату ворвался грубый мальчишеский смех. Она снова зажгла свет. Это Могенс. Он спит с Гитте и даже не подозревает, что Лизе это известно. Гитте спала и с Гертом и объясняла, что это только на пользу их браку, который она взялась спасать. У стены стояла пара туфель Ханне, которых она раньше не замечала. Красные, с заостренными носами – подарок Герта. Гитте считала, сыновья обижаются, что он так балует Ханне. Пока Гитте не обратила на это внимание, Лизе такое на ум не приходило. Вид туфель почему-то ее смущал, она поднялась и выставила их за дверь, после чего снова улеглась и погасила свет.

2

Дневной свет наполнил комнату наивной непорочностью, отодвинув события ночи гораздо дальше, чем любой из дней детства, застывших в ее памяти, как тысячелетнее насекомое в куске янтаря.

Она отдернула шторы и выглянула во внутренний двор. Оттепель: с замусоленной мостовой поднимался пар, как от мокрой тряпки. На крышке мусорного бака под лучами бледного и холодного февральского солнца намывал лапы кот. Из столовой, где Гитте завтракала с детьми, доносилось мерное бормотание. Гитте оберегала писательский покой Лизе, словно она была Гёте или Шекспиром, хотя за два с лишним года из-под ее пера не вышло ни строчки. Лизе твердила себе, что в этой приютской сироте, которая сожгла за собой все мосты лишь затем, чтобы навести порядок в полной хаоса жизни совсем незнакомых людей, – в ней точно было что-то трогательное. Эта мысль притупляла страхи Лизе, многое упрощала – так дети поддаются на уговоры взрослых.

Накинув халат, она села у трюмо, стараясь не создавать ни малейшего шума. Лицо в зеркале показалось ей уставшим и изношенным, точно старая перчатка. Рот двумя скобками обрамляли нечеткие линии, которые обрывались, немного не доходя до округлости подбородка, словно безвестному художнику помешали в разгар работы. Глаза – с тем искренним и наивным выражением, что бывает у детей, когда они пытаются лгать. Три тонкие бороздки охватывали шею нитками жемчуга, с каждым днем врезаясь в нее всё глубже. Выдержит ли лицо отведенное Лизе время? Этому лицу приходилось скрывать столько всего, о чем нельзя было знать миру. Превращалось ли оно во врага, стоило лишь отвернуться? И что окажется скрыто под ним, когда однажды оно развалится на части? Она вспомнила о больших, не по размеру платьях и ботинках, которые ей приходилось носить в детстве: их вечно покупали на вырост, и они всегда изнашивались, как раз когда становились впору. Увидев фотографию матери в газете, Ханне удивилась: «Ох, какая же ты фотогеничная». А Сёрен добавил: «Самая красивая мама в классе». Могенс же ничего не сказал. Гитте заметила, что очень непросто, когда твоя мать – известная личность. И процитировала Грэма Грина: «Успех увечит человеческую натуру». С мировой литературой и прессой Гитте обращалась как с кухонной утварью, предназначенной для облегчения повседневной работы.

Дверь распахнулась, и она рывком обернулась, как будто ее застали за тайным делом. Это был Сёрен – усы от молока, ранец за спиной.

– Пока, мама, – неуверенно произнес он. – Гитте разрешила зайти и посмотреть, не спишь ли ты.

– Не сплю. Пока, Сёрен. Ты меня поцелуешь?

Она нагнулась и поцеловала его в губы. Он обхватил руками ее шею, и запах потревоженного сна, школьной пыли и детской вины накрыл обоих защитной мантией, милосердно наброшенной на павшего врага. Она взяла его за плечи и с мрачным сожалением всмотрелась в маленькое истощенное лицо.

– Надо бы тебя подстричь, – заметила она с фальшивой бодростью и погладила его светлые шелковые волосы.

– Нет, – ответил он резко и вырвался из ее рук. – Гитте говорит, мне идут длинные волосы. А после парикмахерской надо мной все только смеются.

– Ну, раз так...

Она быстро выпрямилась, и в тот же момент меж ними появилась Гитте и взяла мальчика за руку.

– Пора, – произнесла Гитте важно. – Уже без двух минут.

Она прошла по комнате с видом человека, у которого есть цель в жизни, и резко остановилась, как автомобиль перед неожиданной преградой. Взяла склянку из-под таблеток и с нравоучительным выражением близоруко уставилась на Лизе.

– Герт попросил, чтобы я держала их у себя, – сказала она. – Происшествие с Грете его потрясло. Пройти еще раз через что-нибудь подобное он не хочет.

– Ах, – ответила Лизе и села на кровать, почувствовав себя прозрачной, словно вырезанной из бумаги. – Он тебе об этом рассказал?

– Ты сама во всем виновата.

Гитте беспечно сунула склянку в карман джинсов и уселась рядом. Такая очаровательно безобразная. От нее пахло потом. Лизе широко улыбнулась. Комната наполнилась страхами, как жидкостью. Часы в столовой пробили восемь.

– Вчера вечером он приходил к тебе за утешением. Хотел, чтобы всё снова наладилось, Лизе. Он был готов вернуться – чтобы и мысли не возникало о неверности. Хотел лечь с тобой в постель. Но ты устала, собиралась уснуть и совсем ничего не поняла.

Голос выдавал, что терпение у нее на пределе. Она уперлась локтями в колени, лицо покоилось в люльке из сложенных ладоней.

– Гитте, – сказала Лизе, – сделаешь мне кофе?

– Боже, конечно. За кофе и поговорим.

Лизе сняла халат и снова залезла под одеяло. В его хорошо знакомых складках не было ни капли сна. Она подумала, что сегодня нужно позвонить Наде. Лизе склонялась к приятному и непоколебимому представлению Нади о ней. Наде она казалась впечатляюще терпимой, но та путала терпимость с безразличием. Чтобы быть терпимой, нужно быть сопричастной. Откровенность, подумала она, большего Гитте сейчас от меня и не требует: всего-навсего частицу моей души, проявление чего-то человеческого. Так и пройдет еще один день, прежде чем ненависть вырвется на свободу.

– Так, тебе нужно что-нибудь поесть. Я только что испекла белый хлеб².

Устроившись на стуле, на котором Герт сидел по вечерам, Гитте разливала кофе по чашкам.

² Именно белый хлеб в Дании было принято считать символом домашнего очага и уюта – по сути, элементом скандинавского хюгге.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.